

Александр Алексеевич Богданов

# Смерти нет



# Александр Алексеевич Богданов

## Смерти нет

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4666953](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4666953)*

### Аннотация

«Сколько лет было Акиму, никто не мог сказать, да и сам он не знал.

Хозяйка его умерла, дети выросли, и сам он одряхлел так, что не мог уже работать: только липовые лапотки плел. Семья жила вместе неразделенная, в одной избе, – но нужды с каждым днем не убывало, а прибавлялось.

Тяжело было смотреть Акиму на эту бедность, и он совестливо, с душевной болью принимал каждый кусок хлеба...»

# Содержание

I	5
II	11

**Александр  
Алексеевич Богданов  
Смерти нет**

1

---

<sup>1</sup> В основу рассказа положен случай, происшедший в 1906 году с крестьянином Саратовской губернии Кабановым, стариком восьмидесяти четырех лет.

# I

Сколько лет было Акиму, никто не мог сказать, да и сам он не знал.

Хозяйка его умерла, дети выросли, и сам он одряхлел так, что не мог уже работать: только липовые лапотки плел. Семья жила вместе неразделенная, в одной избе, – но нужды с каждым днем не убывало, а прибавлялось.

Тяжело было смотреть Акиму на эту бедность, и он со-вестливо, с душевной болью принимал каждый кусок хлеба.

Домашние, особенно сноха, попрекали его старостью и ча-сто говорили:

– Чужой век заедаешь, старик!.. Давно пора тебе на по-кой... Помри-ка бы лучше!.. А?..

Дед Аким влезал с головой под дырявый вытертый тулуп из овчин, тихо сжимался в комочек на вонючем деревянном топчане, который мыли только перед большими праздни-ками, плакал бесслезно и кротко просил:

– Господи милостисердый!.. Пошлись-ка ты мне смерть!..

В зимние холода он забирался на печь, вздыхал, стучал костяком по голым горячим кирпичам, и под завывание вет-ра в печной трубе просил все о том же:

– Прибери-ка, милостивец, мою душу!.. Знать, для меня и смерти у тебя нет...

Другие вот боялись смерти, а Аким радостно свыкался

мыслью с ней, но смерть не приходила.

Наступили тревожные времена. Пошли по деревням разговоры да суматоха насчет земли и прочего. Забыли про Акима. Сполз он с печи, тоже на люди захотелось. На сход нет уже сил ходить, а вот по завалинкам да по улочкам слушает старый, что говорят, – и радостно ему...

– Мужицкая сила пошла... Може, и добро увидим!..

Раз как-то в избу Зотовых нагрянули власти, – два жандарма из губернии: один постарше с унтерской нашивкой, другой помоложе – вытянутый, черный и щеголеватый. Оба обвешаны красными шнурками, в синих рейтузах и в дорожных теплых калошах. На помощь жандармам были вызваны местные чины: гроза волости урядник Сурков, коренастый и плотный человек с раскосыми калмыцкими глазками, сват Зотовых, сотник Лаврентий, большебородый мужик с круглой начищенной бляхой на груди, и понятые – братья Гришины, мирные соседи, смущенно топтавшиеся у дверей и не знавшие, что делать.

Старший жандарм с опухшим от мороза лицом сидел в переднем углу под божницей, разложив на столе какие-то бумаги, походную чернильницу в кожаном футляре, пузатую складную сумку и большую записную книжку в клеенчатых корках. Он все время молчал, кусал нетерпеливо верхнюю губу и смотрел неопределенно перед собой усталыми, воспаленными от дорог и бессонниц глазами.

Черный щеголеватый жандарм с урядником и Лаврентием

шарили в сундуках, на полатах, в сенях и на дворе.

И вот, когда черный жандарм принес со двора какой-то сверток в холщовых замотках и, криво усмехаясь, доложил старшему, что нашел под навесом запрещенные книжки, — случилось то, чего никто не ожидал: дед Аким поднялся с деревянного топчана, свесил босые шершавые ноги и, нащупывая осторожно пол, как тень, зашатался и медленно задвигался по избе.

Был он похож на тех старцев, каких рисуют на лубочных картинках. Лицо древнее и желтое, широкий горб поднят кверху, как торба, и седые длинные курни бровей нависли над добрыми глазами. Настоящий старец, только посоха нет в руках.

Старший жандарм удивленно повернул к нему лицо, а черный неприязненно прищурился. Аким, не торопясь, расправил горбатую спину, уставился мутными оловянными кружочками глаз на обоих и сказал:

– Пиши, твое благородие, так вот и так!.. Пиши, што книги и листочки, мол, деда... Акима Зотова...

Сын Акима Дмитрий с женой Аннушкой и дочь Лукерья с зятем Иваном молча переглянулись между собой. Они сразу поняли, на что решился старик, и сперва ужаснулись, а потом взглянули на него умиленными, прослезившимися глазами.

Старший жандарм промолчал, а черный спросил строго и недоверчиво:

– А ты грамотный?..

Дед Аким встряхнулся и приложил к уху ладонь, чтоб лучше слышать.

– Ать, говоришь, родимец?..

– Ты грамотный, аль нет?.. – сердито крикнул черный жандарм.

– Был грамотный, а теперь вот глазами шибко маюсь, – ответил Аким спокойно и по-детски просто.

– Сколько же тебе лет?..

– А хто их ведат, твое благородие... Може, восемь десятков с залишком, а может, и все девять!

Старший жандарм даже откинулся от стола. А черный подсел к нему на скамью и долго о чем-то шептал, изредка кивая головой на Акима. Наконец старший жандарм покачал головой и сказал:

– Куда же мне девать тебя, такого старого? А?..

Черный же со злостью и обрывчато бросил:

– Врешь ты, старик! Чужую вину собой покрываешь!.. Грех тебе великий... Сказывай правду, как по долгу присяги.

Дед Аким даже затрясся в страхе, что не дадут веры его словам. Он продвинулся вперед и, не давая жандармам опомниться, сказал:

– Правду истинную баю, родимец... А что стар я, так нешто из этого... Которому человеку в старости только разуму прибавляется...

Сказал и рассмеялся радостным смехом в надежде, что

теперь жандармы поверят. И издали нельзя было разобрать, смеется ли он, или кто другой внутри его всхлипывает.

Тогда жандармы опять заспорили. Черный переспорил, написал какую-то бумагу, показал ее старшему и объявил, наконец:

– Ну, дед!.. Собирайся в путь!.. Мы тебя должны заарестовать.

Аким повеселел и просветлел, выше, прямее стал, сразу словно помолодел, и живые огоньки в потухших глазах его заиграли.

Перед прощанием он вышел из избы в сени за берестовой кошелкой, – не кошелка нужна была ему, а хотелось с сыном наедине перемолвиться. Дмитрий улучил время, отправился вслед за ним и в сенях спросил тихим, дрожащим голосом:

– Ты што же это такое, батя, надумал? Зачем?.. Разве ж мы тебе враги...

Аким приблизился к нему и любовно с торжественностью прошептал:

– Молчи, родной!.. Мне все равно... Помощник я по хозяйству плохой – даром хлеб ем... А коли умереть доведется, так и в тюрьме, сынок, я чаю, люди есть...

Ничего не сказал сын, – только поймал дряхлую отцовскую руку, крепко прильнул к ней горячими дрожащими губами и долго целовал.

Бабы заплакали в избе, как стали провожать деда.

Внук Васянька проснулся в зыбке. Аким подошел к нему,

развернул синие пестрядинные тряпицы, в которые он был завернут, поиграл с ним, показал пальцами, как сорока-белобочка на порог скакала, и шейку ему пощекотал. Потом надел чистые холщовые порты и новую ситцевую рубаху, что загодя старухой еще при жизни на случай смерти Акима была припасена, обул свежие лапти, положил в мешок поданную снохой ковригу ржаного хлеба, два рушника, еще рубаху с портами на смену, чулки теплые овечьи, и радостный отправился в путь, точно на праздник.

## II

Через три месяца возвратился Аким из города. Пришел он грязный, весь иссохший и еще желтее, чем был: кости да кожа. И нос заострился, и щеки ввалились, а глаза глубже запали под густые белые брови. Торжественное и светлое появилось в его лице, как будто понял он душой какую-то большую и новую правду, которой не знал раньше.

Семейные истопили для старика баню, долго парили его и скребли грязь тюремную, а Аким веселый и разговорчивый стал, все подшучивал:

– Добра-то этого – вшей да клопов – там видимо-невидимо!.. И вша рестанская на подбор, – одна к другой, – белая, крупная да мягкая...

Посмеивался старый в омытую серебряную бороду, сидя в бане на полке, и смех был добрый такой, растворявший в себе все тюремные обиды и страдания.

Вечера деревенские долгие. Все село перебивало у Зотовых послушать, как рассказывал Аким про тюрьму. Лучами морщинки от глаз его расходились, добрая улыбка на лице играла, и говорил он ровно и тихо, – словно сказку ребятам рассказывал:

– Ну-к, большой в губернии острог, в четыре этажа, – на тыщу человек, а може, и более. И сидит там людей всякого звания – которые господа, которые простые люди, а больше

всего нашего брата – мужиков серых да с завода которые... Кругом стена каменная и караул военный. Сперва одни ворота, – страж с ключами приставлен, в окошечко из калитки посматривает... Потом другие ворота, и опять страж, а потом и дверь кованая на железном засове – ход в острог. Начальник из охвицеров, и немолодой. На щеке шрам... Сказывают, бунт в остроге был, так в суматоху парень ножом его ударил. Вписали меня в книжечку и наверх повели в обчую камору с которыми хорошими людьми, а не то, чтобы просто с ворами. Восемнадцать душ нас в каморе сидело: студент один, учитель, писарек какой-то из газеты, – и молодые и старые. Я-то всех постарее был, диву давались на меня, особливо писарек, спрашивали: «Сколь, мол, тебе, дедушка, годов?» А мне што?.. Я только посмеиваюсь: «Не считал, мол, годов-от...» Смеются и они надо мной: «Стар ты, как Мафусаил!..» Ишь прозвание-то какое мудреное дали! «В богадельной дом тебе надо...» И я смеюсь: «Не берут, вишь ты, баю, в богадельню-то!» – «Ну-к, што же, – бают они, – посиди с нами, узнай, какое есть утеснение людям». А я им в ответ: «Я, мол, к этому утеснению сызмалетства привык. Мужичья жисть известная!..» Так вот и сидели мы. Утром обход поверит, кипяток раздадут, на гулянку сводят, потом обед, потом опять кипяток, а после ужина поверка. Душевные разговоры вели, книжки, которые правильные, читали. Все бы хорошо, только вот дела никакого не было. Просил я начальника: «Дозволь, мол, хоша бы лапти плести, твое благородие». –

«Этого, баэт, у нас не полагается... По закону нельзя...» И еще плохо было: постели к стенкам подвинчены, на ночь откнуты, а утром на день опять под замок. Жалели шибко меня товарищи, все понукали: «Запишись, мол, к дохтуру, возьми разрешение койку на день опускать». Послухался я, вызвался к дохтуру, дал дохтур грамотку начальнику, – да так и посеяс грамотка моя где-то гуляет. Ответил начальник, што надо, вишь ты, с этим делом дойти до тюремного инспектура. А пока што, пока грамотка до инспектура доходила, заболел я, может от духу чижолого, а может от чего прочего. Жандармский набольший в скорости приехал допрос снимать. Резонил меня долго... «А-ах ты, говорит, старый... Чем бы молодых отстранять, а он, на-кась, на такие нехорошие дела пошел...» А я ему в ответ: «Нехорошими, говорю, делами мои отцы и деды никогда не занимались и мне не завещали...» – «Где, спрашивает, листочки взял?...» – «Где, мол, взял?... Таких листочков по селу-то ходило, – боже ты мой, что оболочков по небу». – «Для чего же ты, говорит, берег их, а не уничтожил?...» – «А для того, говорю, и берег, что газет мы не выписываем, охота, мол, послушать, какую такую правду про нас, мужиков, пишут... Все от скуки ребята почитывали». Поправил жандармский очки на носу. «Антиресно, говорит, это очень знать, какую ты правду в листочках вычитал?» Тут я ему все, что такого в мужицкой жизни есть, напрямик и выложил. «Мне што, – мне все равно, помирать пора, а ты вот послухай, – какая она есть

мужицкая правда. Ты, мол, знаешь, как мужик-то хребтину гнет, вас, пустоплясов, целую араву кормит... А? А што мы заместо того получаем?» Так вот и пошел и пошел. Дюже ему отчитал, осерчал он крепко. «За такие, говорит, речи тебя опять в тюрьму следоват!..» – «Что ж, говорю, твое благо-родие, – твой верх, а мой низ. Только скажу я тебе, – вот на груди ты в петличке золоченый хрест носишь, а в душе-те у тебя хрест есть, али нет?.. А?..» Так я его этими словами, как супоросую свинью, в брюхо шилом и кольнул... Замолчал жандармский, а потом, по малом времени и говорит: «Ай-ай, старик, ай-ай, старик!..» Ну, а в скором времени вышло мне и отпущение из тюрьмы!..

Рассказывал Аким, и крупные слезы умиления скатывались по его щекам. И у всех в глазах словно жемчуг светлый и влажный играл. И еще раз повторил Аким:

– Так вот я его, ровно супоросую свинью. Н-даа...